



Я ♥ читать

Фазиль
ИСКАНДЕР
**ЗОЛОТО
ВИЛЬГЕЛЬМА**

Современные и классические бестселлеры

Фазиль Искандер

**Школьный вальс, или Энергия
стыда (повесть в рассказах)**

«ЭКСМО»

Искандер Ф. А.

Школьный вальс, или Энергия стыда (повесть в рассказах) /
Ф. А. Искандер — «Эксмо»,

«... В тот же день я поступил в Библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона. Если человек из университета все время давал мне знать, что я недотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат, как слишком крупную для этого института и поэтому подозрительную купюру. Он присматривался к остальным документам, заглядывал мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и прося в ответ на его сочувствие проявить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я мрачнел, чувствуя, что переплываю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу.— Хорошо, вы приняты, — сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не то утешенный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов. ...»

© Искандер Ф. А.

© Эксмо

Содержание

Начало	5
Петух	14
Рассказ о море	18
Детский сад	22
Мой первый школьный день	29
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Фазиль Искандер

Школьный вальс, или Энергия стыда

Начало

Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, что и мы могли бы позволить себе такого рода отклонения, но не хотим, нам это ни к чему. А может, все-таки хотим?

Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной питтит, а доигрывает.

Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот,крепишься в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула.

Правда, в отдельных случаях человеку удастся навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически пьющим.

Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил. Про одного моего знакомого так и говорят: мол, талантливый инженер человеческих душ, губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь, потому что неблагородно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то, по крайней мере, не мешай ему.

Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему окружающими людьми.

Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как это ни странно, в самом деле превратили.

Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами передовым для того времени методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному саженцу в ямку, таким образом давая возможность новому, прогрессивному методу и старому проявить себя в свободном соревновании.

Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная эвкалиптовая роща, и уже никак невозможно было различить, где гнездовые посадки, а где одиночные. Тогда говорили, что одиночные саженцы в непосредственной близости от гнездовых, завидуя им Хорошей Завистью, подтягиваются и растут не отставая.

Так или иначе, сейчас, приезжая в родной город, я иногда в жару отдыхаю под нашими, теперь огромными, деревьями и чувствую себя Взволнованным Патриархом. Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дожидаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны.

Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний день, когда мы возделывали пустырь, один из ребят обратил внимание остальных на то, как я держу носилки, на которых мы перетаскивали землю. Военрук, присматривавший за нами, тоже обратил внимание на то, как я держу носилки. Все обратили внимание на то, как я держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и повод был найден. Оказалось, что я держу носилки как Отъявленный Лентяй.

Это был первый кристалл, выпавший из раствора, и дальше уже шел деловитый процесс кристаллизации, которому я теперь сам помогал, чтобы окончательно докристаллизироваться в заданном направлении.

Теперь все работало на образ. Если я на контрольной по математике сидел, никому не мешая, спокойно дожидаясь, покамест мой товарищ решит задачу, то все приписывали это моей лени, а не тупости. Естественно, я не пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же я по русскому письменному писал прямо из головы, не пользуясь учебниками и шпаргалками, это тем более служило доказательством моей неисправимой лени.

Чтобы оставаться в образе, я перестал исполнять обязанности дежурного. К этому привыкли настолько, что, когда кто-нибудь из учеников забывал выполнять обязанности дежурного, учителя под одобрительный шум класса заставляли меня стирать с доски или тащить в класс физические приборы. Впрочем, приборов тогда не было, но кое-что тащить приходилось.

Развитие образа привело к тому, что я вынужден был перестать делать домашние уроки. При этом, чтобы сохранить остроту положения, я должен был достаточно хорошо учиться.

По этой причине я каждый день, как только начиналось объяснение материала по гуманитарным предметам, ложился на парту и делал вид, что дремлю. Если учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, но не хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лежа на парте, я внимательно слушал голос учителя, не отвлекаясь на обычные шалости, и старался запомнить все, что он говорит. После объяснения нового материала, если оставалось время, я вызывался отвечать в счет будущего урока.

Учителей это радовало, потому что льстило их педагогическому самолюбию. Получалось, что они так хорошо и доходчиво доносят предмет, что ученики, даже не пользуясь учебниками, все усваивают.

Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, звенел звонок, и все были довольны. И никто, кроме меня, не знал, что только что зафиксированные знания рушатся из моей головы, как рушится штанга из рук штангиста после того, как прозвучит судейское: «Вес взят!»

Для полной точности надо сказать, что иногда, когда я, делая вид, что дремлю, лежал на парте, я и в самом деле погружался в дремоту, хотя голос учителя продолжал слышать. Гораздо позже я узнал, что таким или почти таким методом изучают языки. Я думаю, не будет выглядеть слишком нескромным, если я сейчас скажу, что открытие его принадлежит мне. О случаях полного засыпания я не говорю, потому что они были редки.

Через некоторое время слухи об Отъявленном Лентяе дошли до директора школы, и он почему-то решил, что это именно я стащил подзорную трубу, которая полгода назад исчезла из географического кабинета. Не знаю, почему он так решил. Возможно, сама идея хотя бы зрительного сокращения расстояния, решил он, больше всего могла соблазнить лентяя. Другого объяснения я не нахожу. К счастью, подзорную трубу отыскали, но ко мне продолжали присматриваться, почему-то ожидая, что я собираюсь выкинуть какой-нибудь фокус. Вскоре выяснилось, что никаких фокусов я не собираюсь выкидывать, что я, напротив, очень послушный и добросовестный лентяй. Более того, будучи лентяем, я вполне прилично учился.

Тогда ко мне решили применить метод массированного воспитания, модный в те годы. Суть его заключалась в том, что все учителя неожиданно наваливались на одного нерадивого ученика и, пользуясь его растерянностью, доводили его успеваемость до образцово-показательного блеска.

Идея метода заключалась в том, что после этого другие нерадивые ученики, завидуя ему Хорошей Завистью, будут сами подтягиваться до его уровня, как одиночные посадки эвкалиптов.

Эффект достигался неожиданностью массированного нападения. В противном случае ученик мог ускользнуть или испакостить сам метод.

Как правило, опыт удавался. Не успевала мала-куча, образованная массированным нападением, рассосаться, как преобразованный ученик стоял среди лучших, нагло улыбаясь смущенной улыбкой обесчещенного.

В этом случае учителя, завидуя друг другу, может быть, не слишком Хорошей Завистью, ревниво по журналу следили, как он повышает успеваемость, и, уж конечно, каждый старался, чтобы кривая успеваемости на отрезке его предмета не нарушала победную крутизну.

То ли на меня навалились слишком дружно, то ли забыли мой собственный приличный уровень, но, когда стали подводить итоги работы надо мной, выяснилось, что меня довели до уровня кандидата в медалисты.

– На серебряную потянешь, – однажды объявила классная руководительница, тревожно заглядывая мне в глаза.

Это была маленькая самолюбивая каста неприкасаемых. Даже учителя сами слегка побаивались кандидатов в медалисты. Они были призваны защищать честь школы. Замахнуться на кандидата в медалисты было все равно что подставить под удар честь школы.

Каждый из кандидатов в свое время собственными силами добивался выдающихся успехов по какому-нибудь из основных предметов, а уже по остальным его дотягивали до нужного уровня. Включение меня в кандидаты было пока еще тихим триумфом метода массированного воспитания.

На выпускных экзаменах к нам были приставлены наиболее толковые учителя. Они подходили к нам и часто под видом разъяснения содержания билета тихо и сжато рассказывали содержание ответа. Это было как раз то, что нужно. Спринтерская усвояемость, отшлифованная во время исполнения роли Отыявленного Лентяя, помогала мне точно донести до стола комиссии благотворительный шепоток подстраховывающего преподавателя. Мне оставалось включить звук на полную мощность, что я и делал с неподдельным вдохновением.

Кончилось все это тем, что я вместо запланированной на меня серебряной медали получил золотую, потому что один из кандидатов на золотую по дороге сорвался и отстал.

Он был и в самом деле очень сильным учеником, но ему никак не давались сочинения и у него была слишком настырная мать. Она была членом родительского комитета и всем надоела своими вздорными предложениями, которые никто не принимал, но все вынуждены были обсуждать. Она даже внесла предложение кормить кандидатов усиленными завтраками, но члены родительского комитета своим демократическим большинством отвергли ее вредное предложение.

Так вот, мальчик этот, готовясь к первому экзамену, составил, чтобы избежать всякой случайности, двадцать сочинений на наиболее возможные темы по русской литературе. Каждое сочинение он сшил в микроскопический томик с эпиграфом и библиографическим знаком на обложке, чтобы не запутаться. Двадцать лилипутских томиков можно было сжать в ладони одной руки.

Он успешно написал свое сочинение, но, видно, переутомился. На следующих экзаменах он хотя и правильно отвечал, но говорил слишком тихим голосом, а главное, задумывался и, что уже совсем непростительно, вдруг возвращался к сказанному, уточняя формулировки уже после того, как экзаменатор кивнул головой в знак согласия.

Когда экзаменатор или, скажем, начальник кивает тебе головой в знак согласия с тем, что ты ему говоришь, так уж, будь добр, валяй дальше, а не возвращайся к сказанному, потому что ты этим ставишь его в какое-то не вполне красивое положение.

Получается, что экзаменатору первый раз и не надо было кивать головой, а надо было дожидаться, пока ты уточнишь то, что сам же высказал. Так ведь не всегда уточняешь. Некоторые могли даже подумать, что, кивнув первый раз, экзаменатор или начальник не подозревали, что эту же мысль можно еще точнее передать, или даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспринципность: мол, и там кивает, и тут кивает.

Сам не замечая того, он оскорблял комиссию, как бы снисходил до нее своими ответами.

В конце концов было решено, что он зазнался за время своего долгого пребывания в кандидатах, и на двух последних экзаменах ему на балл снизили оценки.

Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамы на выпускном вечере. Вернее, не на самом вечере, а перед вечером в раздевалке.

– Негодяй, притворявшийся лентяем! – сказала она, увидев меня в раздевалке и одергивая зонтик.

Мне бы промолчать или, по крайней мере, потерпеть, пока она повесит свой вонючий зонтик.

– Все же он получает серебряную, – сказал я, чувствуя, что мое утешение должно ее раздражать, и, может, именно поэтому утешая.

– Мне серебро даром не надо, – прошипела она и, неожиданно вытянув руку, несколько раз мазнула мне по шее мокрым зонтиком. – Я три года проторчала в комитете!

Она это сделала с такой злостью, словно то, что она мазнула мне по шее зонтиком, ничего не стоит, что, в сущности, шею мою надо было бы перепилить.

– А я вас просил торчать? – только и успел я сказать. Слава богу, из ребят никто ничего не заметил. Но все равно было обидно. Особенно было обидно, что он был мокрым. Если бы сухой, не так было бы обидно.

В тот же год я поехал учиться в Москву, а самую медаль, которую я еще не видел, через несколько месяцев принесли маме прямо на работу. Она показывала ее знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлинности золота.

– Сказал, настоящее, если он не заодно с ними, – рассказывала она мне на следующий год, когда я приехал на каникулы.

Так, доигрывая навязанный мне образ Отъявленного Лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мокрым зонтиком по шее.

И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство.

Года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я дал ему «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойля, а он мне – один из разрозненных томов Гегеля, «Лекции по эстетике». Я уже знал, что Гегель – философ и гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной рекомендацией.

Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными, непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля, кроме рационального зерна, немало идеалистической шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, которые я пропускал, скорее всего и содержали эту шелуху.

Вообще я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд возле оазиса. Некоторые мысли его удивили меня высокой точностью попадания. Так, он назвал басню рабским жанром, что было похоже на правду, и я постарался это запомнить, чтобы в будущем по ошибке не написать басни.

Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на Моховой. Я поднялся по лестнице и, следуя указаниям бумажных стрел, вошел в помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди, за некоторыми – довольно юные девушки. На каждом столике стоял плакатик с указанием факультета. У столиков толпились выпускники, томясь и медля перед сдачей документов. В зале стоял гул голосов и запах школьного пота.

За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле этого столика, и тем безудержней я пересек это пространство, как бы выжженное философским скептицизмом.

Я подошел к столику. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня.

– Откуда, юноша? – спросил он голосом, усталым от философских побед.

Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к намеченному диалогу.

– Из Чегема, – сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучестью происхождения. По моему мнению, университет, носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям.

– Это что такое? – спросил он, едва заметным движением руки останавливая мою попытку положить на стол документы.

– Чегем – это высокогорное село в Абхазии, – доброжелательно разъяснил я.

Пока все шло по намеченному диалогу. Все, кроме радости по поводу моей дремучести. Но я решил не давать сбить себя с толку мнимой холодностью приема. Я ведь тоже преувеличивал высокогорность Чегема, не такой уж он высокогорный, наш милый Чегемчик. Он с преувеличенной холодностью, я с преувеличенной высокогорностью, в конце концов, думал я, он не сможет долго скрывать радости при виде далекого гостя.

– Абхазия – это Аджария? – спросил он как-то рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехватить мою очередную попытку положить документы на стол.

– Абхазия – это Абхазия, – сказал я с достоинством, но не заносчиво. И снова сделал попытку вручить ему документы.

– А вы знаете, какой у нас конкурс? – снова остановил он меня вопросом.

– У меня медаль, – расплылся я и, не удержавшись, добавил: – Золотая.

– У нас медалистов тоже много, – сказал он и как-то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола: то ли искал внушительный список медалистов, то ли просто пытался выиграть время.

– А вы знаете, что у нас обучение только по-русски? – вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами.

– Я русскую школу кончил, – ответил я, незаметно убирая акцент. – Хотите, я вам прочту стихотворение?

– Так вам на филологический! – обрадовался он и кивнул: – Вон тот столик.

– Нет, – сказал я терпеливо, – мне на философский.

Человек погрустнел, и я понял, что можно положить на стол документы.

– Ладно, читайте. – И он вяло потянулся к документам.

Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков.

Мне снилось: мертвенно-бессильный,
Почти жилец земли могильной,
Я глухо близился к концу.
И бывший друг пришел к кровати
И, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу!

– И правильно сделал, – сказал он, подняв голову и посмотрев на меня.

– Почему? – спросил я, оглушенный собственным чтением и еще не понимая, о чем он говорит.

– Не заводите себе таких друзей, – сказал он не без юмора.

Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось.

– Пойду узнаю, – сказал он и, шлепнув мои документы на стол, поднялся, – кажется, на вашу нацию есть разнарядка.

Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи и разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся.

В тот же день я поступил в Библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона.

Если человек из университета все время давал мне знать, что я недотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат, как слишком крупную для этого института и поэтому подозрительную купюру. Он присматривался к остальным документам, заглядывал мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и прося в ответ на его сочувствие проявить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу.

– Хорошо, вы приняты, – сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не то утешенный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов.

Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Сейчас Библиотечный институт переименован в Институт культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить вывеску.

Через три года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгодней самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я перешел в Литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней квалификации и стал осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды.

Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрестности города я нашел красивыми, только полное отсутствие гор создавало порой ощущение незащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или даже спрятаться за нее.

Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают нам возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.

Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши по сравнению с москвичами едят гораздо больше зелени.

Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, – это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.

– Тише! – встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. – Погоду передают.

Все затаив дыхание слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное «тише!», я вздрагивал, думал, что начинается

война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело?

Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна.

Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное призвание – это открывать и изобретать.

Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в своем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде, я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой.

– Ну как, – говорю я, – что там передают насчет погоды? Ветер с востока?

– Нет, – радостно отвечают москвичи, – ветер юго-западный, до умеренного.

– Ну, если до умеренного, – говорю, – это еще терпимо.

И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности.

Но чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу.

Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста, и я уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я вижу лицо читателя, с выражением добродетельного терпения ждущего, когда я наконец начну про смешное.

Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня все-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьезное я начал говорить нарочно, чтобы потом было еще смешней.

Вообще я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы сами участники описываемых событий делали что им заблагорассудится, а я бы сидел в сторонке и только поглядывал на них.

Но чувствую, что пока не могу этого сделать: нет полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку: делай все, что тебе заблагорассудится, мы имеем в виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки, делается еще приятней.

Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать неприятные глупости или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то есть пребывать в унылом бездействии.

Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости:

– Веселее, ребята!

В понимании юмора тоже нет полной ясности.

Однажды на теплоходе «Адмирал Нахимов» я ехал в Одессу. Был чудесный сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабея.

Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи проносились подо мной, издавая соблазнительный шорох тающей пены свежего бочкового пива. Но тут ко мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные струи продолжали проноситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены свежего бочкового пива больше не удавалось.

– Простите, – сказал он с понимающей улыбкой, – вы – это вы?

– Да, – говорю, – я это я.

– Я, – говорит он, все так же понимающе улыбаясь, – вас сразу узнал по кольцу.

– То есть по какому кольцу? – заинтересовался я и перестал слушать пену.

– В журнале печатались статьи с вашими портретами, – объяснил он, – где вы сняты с этим же кольцом.

В самом деле, так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со снимками из этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, нестареющим женихом с обручальным кольцом, выставленным вперед, подобно тому, как раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястье с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.

Я уже было совсем собрался поругаться с редакцией за эту рекламу, но тут обнаружилось, что редакция больше не собирается меня печатать, и необходимость выяснять отношения отпала сама собой.

Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа «Детский сад», он прямо-таки стал захлебываться от хохота, что в значительной мере улучшило мое настроение.

Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж смешным, но, если он читателю показался таким, было бы глупо его разуверять в этом. Уподобляясь ему, перескажу содержание рассказа.

Во дворе детского сада росла груша. Время от времени с дерева падали перезревшие плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть, но воспитательница отобрала у него грушу и сказала, что она пойдет на общий обеденный компот. После некоторых колебаний мальчик утешился тем, что его груша пойдет на общий компот.

Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла домой. В руке она держала сетку. В сетке лежала его груша. Мальчик побежал, потому что ему стыдно было встретиться глазами с воспитательницей.

В сущности, это был довольно грустный рассказ.

– Так что же вас так рассмешило? – спросил я у него.

Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул рукой – дескать, хватит меня разыгрывать.

– Все-таки я не понимаю, – настаивал я.

– Неужели? – спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно выпуклые глаза.

– В самом деле, – говорю я.

– Так если воспитательница берет грушу домой, представляете, что берет директор детского сада?! – почти выкрикнул он и снова расхохотался.

– При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова не говорится, – возразил я.

– Потому и смешно, что не говорится, а подразумевается, – сказал он и как-то странно посмотрел на меня своими выпуклыми, недоумевающими глазами.

Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно прямо сказать о чем-то, а в каких случаях прямо говорить не смешно. Здесь именно такой случай, сказал он, потому что читатель по разнице в должности догадывается, сколько берет директор, потому что при этом отталкивается от груши воспитательницы.

– Выходит, директор берет арбуз, если воспитательница берет грушу? – спросил я.

– Да нет, – сказал он и махнул рукой.

Разговор перешел на посторонние предметы, но я все время чувствовал, что заронил в его душу какие-то сомнения, боюсь, что творческие планы. Во время нашей беседы выяснилось, что он работает техником на мясокомбинате. Я спросил у него, сколько он получает.

– Хватает, – сказал он и обобщенно добавил: – С мяса всегда что-то имеешь.

Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

– Что тут смешного? – сказал он. – Каждый жить хочет.

Это тоже прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, чтобы установить, что имеет директор комбината, но не решился.

Он стал держаться несколько суше. Я теперь его раздражал тем, что открыл ему глаза на его более глубокое понимание смешного, и в то же время сделал это нарочно слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состязаться. В конце пути он сурово взял у меня телефон и записал в книжечку.

– Может, позвоню, – сказал он с намеком на вызов.

Каждый день, за исключением тех дней, когда меня не бывает дома, я закрываюсь у себя в комнате, закладывая бумагу в свою маленькую прожорливую «Колибри» и пишу.

Обычно машинка, несколько раз вяло потявкая, надолго замолкает. Домашние делают вид, что стараются создать условия для моей работы, я делаю вид, что работаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобретаю или, склонившись над машинкой, прислушиваюсь к телефону в другой комнате. Так деревенские свиньи в наших краях, склонив головы, стоят под плодовыми деревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, чтобы вовремя к нему подбежать.

Дело в том, что дочка моя тоже прислушивается к телефону, и если успевает раньше меня подбежать к нему, то ударом кулачка по трубке ловко отключает его. Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лишено смысла.

О многих своих открытиях ввиду их закрытого характера, пока существует враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд ценных наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором.

Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов!

Петух

В детстве меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития.

В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья – мать, две взрослые дочери, два взрослых сына – с утра уходила на работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накормить козлят (хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток), к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястребы чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось как представителю хилого городского племени выпивать пару свежих яиц из-под кур, что я и делал добросовестно и охотно.

На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которые неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стену. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание – и я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде.

В доме я нашел две книги: Майн Рида «Всадник без головы» и Вильяма Шекспира «Трагедии и комедии». Первая книга потрясла. Имена героев звучали как сладостная музыка: Морис-мустангер, Луиза Пойндекстер, капитан Кассий Кольхаун, Эль-Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Коваруби де Лос-Льянос.

« – Просите прощения, капитан, – сказал Морис-мустангер и приставил пистолет к его виску.

– О, ужас! Он без головы!

– Это мираж! – воскликнул капитан».

Книгу я прочел с начала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали.

Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах.

Домик, в котором мы жили, стоял на холме, круглосуточно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец.

Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные, крикливые птенцы. Их прозорливость могла соперничать только с неутомимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное, стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение – и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы.

Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, с остекленевшими глазами.

– Не жилец, – говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню.

Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие? Или его бесила моя нерадивость во время нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действовало на него, а главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть.

Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.

Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время ястребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахтая и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе и, гневно клопоча, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных шагов в сторону летящей птицы, но, так как идущий не может догнать летящего, это производило впечатление пустой бравады.

Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур. Порою, вытянув шею, он поглядывал в небо: нет ли опасности?

Вот скользнула по двору тень парящей птицы или раздалось карканье ворона, он воинственно вскидывает голову, озирается и дает знак быть бдительными. Куры испуганно прислушиваются, иногда бегут, ища укрытое место. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа сожительниц в состоянии нервного напряжения, он подавлял их волю и добивался полного подчинения.

Разгребая жилистыми лапами землю, он иногда находил какое-нибудь лакомство и громкими криками призывал кур на пиршество.

Пока подбежавшая курица клевала его находку, он успевал несколько раз обойти ее, напыщенно волоча крыло и как бы захлебываясь от восторга. Затея эта обычно кончалась насильем. Курица растерянно отряхивалась, стараясь прийти в себя и осмыслить случившееся, а он победно и сыто озирался.

Если подбегала не та курица, которая приглянулась ему на этот раз, он загораживал свою находку или отгонял ее, продолжая урчащими звуками призывать свою новую возлюбленную. Чаще всего это была опрятная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности.

Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за ней, но и чувствуя постыдность своего положения, он продолжал бежать, на ходу стараясь сохранять солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение.

Между прочим, нередко призывы пировать оказывались сплошным надувательством. Клевать было нечего, и куры об этом знали, но их подводило извечное женское любопытство.

С каждым днем он все больше и больше наглел. Если я переходил двор, он бежал за мной некоторое время, чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину охватывает морозец, я все-таки останавливался и ждал, что будет дальше. Он тоже останавливался и ждал. Но гроза должна была разразиться, и она разразилась.

Однажды, когда я обедал на кухне, он вошел и встал у дверей. Я бросил ему несколько кусков мамалыги, но напрасно. Он склевал подачку, но видно было, примиряться не собирается.

Делать было нечего. Я замахнулся на него головешкой, но он только подпрыгнул, вытянув шею наподобие гусака, и уставился ненавидящими глазами. Тогда я швырнул в него головешкой. Она упала возле него. Он подпрыгнул еще выше и ринулся на меня, извергая петушиные проклятия. Горящий, рыжий ком ненависти летел в меня. Я успел заслониться табуреткой. Ударившись о нее, он рухнул возле меня, как поверженный дракон. Крылья его, пока он вставал, бились о земляной пол, выбивая струи пыли, и обдавали мои ноги холодком боевого ветра.

Я успел переменить позицию и отступал в сторону двери, прикрывшись табуреткой, как римлянин щитом.

Когда я переходил двор, он несколько раз бросался на меня. Каждый раз, взлетая, он пытался, как мне казалось, выключить мне глаз. Я удачно прикрывался табуреткой, и он, ударившись о нее, шлепался на землю. Оцарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табуретку все труднее было держать. Но в ней была моя единственная защита.

Еще одна атака – и петух мощным взмахом крыльев взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно уселся на него.

Я бросил табуретку, несколькими прыжками достиг террасы и дальше – в комнату, захлопнув за собой дверь.

Грудь моя гудела, как телеграфный столб, по рукам лилась кровь. Я стоял и прислушивался, я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись за дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей и стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он звал меня в бой, но я предпочел отсиживаться в крепости. Наконец ему надоело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал.

Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали устраивать ежедневные турниры. Решительного преимущества никто из нас не добивался, мы оба ходили в ссадинах и кровоподтеках.

На мясистом, как ломоть помидора, гребешке моего противника нетрудно было заметить несколько меток от палки: его пышный, фонтанирующий хвост порядочно ссохся, тем более нагло выглядела его самоуверенность.

У него появилась противная привычка по утрам кукарекать, взгромоздившись на перила террасы прямо под окном, где я спал.

Теперь он чувствовал себя на террасе, как на оккупированной территории.

Бои проходили в самых различных местах: во дворе, в огороде, в саду. Если я влезал на дерево за инжиром или за яблоками, он стоял и терпеливо дожидался меня.

Чтобы сбить с него спесь, я пускался на разные хитрости. Так, я стал подкармливать кур. Когда я их звал, он приходил в ярость, но куры предательски покидали его. Уговоры не помогали. Здесь, как и везде, отвлеченная пропаганда легко посрамлялась явю выгоды. Пригоршни кукурузы, которую я швырял в окно, побеждали родовую привязанность и семейные традиции доблестных яйценок. В конце концов являлся и сам папа. Он гневно укорял их, а они, делая вид, будто стыдятся своей слабости, продолжали клевать кукурузу.

Однажды, когда тетка с сыновьями работала на огороде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке.

Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпуская из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнулся и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч. Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный пружинистый рывок и ударом крыла по лицу оглушил меня на одно ухо. Страх удесятил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала у меня в ладони, и ощущение было такое, будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешнястые когти шевелились, стараясь дотянуться до моего тела и врезаться в него.

Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках.

Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя на нас из-за ограды. Что ж, тем лучше! Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение. Победенный ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить – набросится, а держать его бесконечно невозможно.

– Перебрось его в огород, – посоветовала тетка.

Я подошел к изгороди и швырнул его окаменевшими руками.

Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжелые крылья. Через мгновение он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился наутек, а из груди моей вырвался древний спасительный крик убегающих детей:

– Ма-ма!

Надо быть или очень глупым, или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился.

Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался на мне, надсадно хрипя от кровавого наслаждения. Вероятно, петух продолбил бы мне позвоночник, если бы подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру петух вышел из кустов притихший и опечаленный.

Промывая мои раны, тетка сказала:

– Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его зажарим.

На следующий день мы с братом стали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротой страуса. Он перелетел в огород, прятался в кустах, наконец забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Кажется, он хотел мне сказать: «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек ему голову. Тело петуха запрыгало и забилось, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и... скучно.

Впрочем, обед удался на славу, а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали.

Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боев давно прошла, а воевать с людьми – пропащее дело.

Рассказ о море

Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить – неизвестно. Воспитывали коллективно. Дом наш всегда был полон всякими двоюродными братьями и сестрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных деревень поступать в школы и техникумы и, поступая, проходили сквозь наш довольно тусклый дом, как сквозь тоннель. Среди них было немало забавных и интересных людей, некоторых я любил, но море мне все-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему, когда только мог.

Летом море было ежедневным праздником. Бывало, только выйдем с ребятами со двора, а уж какое-то радостное волнение окрыляет шаги – быстрее, быстрее! Через весь город бежали на свидание с морем.

Конец улицы упирался в серую крепостную стену. За стеной – море. Крепость как бы пытается закрыть от города море, но это ей плохо удается. Запах моря, всегда мощный и свежий, спокойно и даже насмешливо проходит сквозь каменную преграду.

Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он догадается даже в полный штиль: за стеной живет что-то могучее и прекрасное, и не успокоится, пока не прикоснется к нему.

До революции крепость была тюрьмой, а еще раньше она была собственно крепостью. Из крепости легко сделать тюрьму, а из тюрьмы можно сделать крепость. Среди обломков сохранилась камера, где, говорят, сидел Серго Орджоникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутского уезда.

Сквозь приплюснутое узкое оконце он смотрел вдаль, как танкист в смотровую щель. Оконце позволяло смотреть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, который должен смотреть в одну сторону, или ничего не видит, или видит больше тех, кто вынудил его смотреть в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок моря, перечеркнутый железными прутьями, он смирился бы или сошел с ума. Но он видел больше и потому победил.

Обо всем этом мы тогда не думали. Мы проходили через крепостной двор, всегда вкусно пахнущий жареной рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. Белье, развешанное на веревках, плотно надувалось ветром, близость моря не давала ему покоя, пеленки подражали парусам.

И наконец, море! Огромное и неожиданное, оно врывалось в глаза и обдавало стойкой соленой свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в теплую, ласковую воду.

Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул мне, что видел в одном месте в море золотые монеты. Поклявшись никому не говорить об этой тайне, мы расстались до следующего дня. Ночью я плохо спал: ворочался, вскакивал, никак не мог дожждаться рассвета. Чуть забрезжило, я встал и на цыпочках выскользнул из дому. Мы встретились у старой крепости. Говорили почему-то шепотом, хотя кругом на полкилометра простирался пустынный пляж. Было по-утреннему зябко, вода тихо плескалась у ног. Мы взобрались на мокрый от утренней сырости обломок крепостной стены и осторожно переползли к его краю. Легли на живот и стали глядеть. Через некоторое время товарищ мой ткнул пальцем в воду. Свесив голову, замирая от волнения, я вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очертания дна. Но он очень хотел, чтобы я увидел монеты. И я наконец увидел их. Как бы колыхаясь, они таинственно поблескивали сквозь толщу воды. Разглядеть их можно было в короткое мгновение, когда одна волна уже пробежала, а другая еще не подошла.

Мы разделись и начали нырять. Вода еще была очень холодная: дело происходило в апреле или в начале мая. Я несколько раз нырнул, но до дна не достал. Не хватало дыхания, и уши сильно болели.

Я тогда еще не знал, что нырять нужно под углом, а не вертикально, как это я делал. Нырять под углом, проходишь большее расстояние до дна, зато идти легко, а главное – уши привыкают к давлению и не болят.

Каждый раз я почти доныривал до дна, казалось, только протяни руку – и схватишь монеты, но меня обманывала прозрачность воды. Наконец мне пришлось в голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже нырнуть за счет инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без труда донырнул до дна. Схватив монеты вместе с горстью песка, я с силой оттолкнулся и вынырнул. Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял другую руку. Песок стыдливыми струйками стекал с ладони, а на ладони моей блестели две металлические пробки, которыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания трезво пировала, устроившись на этой каменной глыбе. Дорого же нам обошелся этот нарзанный пир! С трудом продев одеревеневшие руки и ноги в одежду, мы долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись. Море подшутило над нами.

Я люблю это место. Здесь можно было часами жариться, лежа на скале, лениво следя за дымящими теплоходами или парящими парусниками. В камнях водились крабы, мы их ловили, натывая на заостренный железный прут. Море в этих местах наступает на берег: можно заплывать и метрах в двадцати от берега нащупать ногами ржавый обломок стены, неподвижно стоять на нем по грудь в воде, легким движением рук удерживая равновесие.

Я люблю это место. Здесь я когда-то научился плавать, и здесь же я чуть не утонул. Обычно любишь места, где пережил большую опасность, если она не результат чьей-то подлости.

Я хорошо запомнил день, когда научился плавать, когда я почувствовал всем телом, что могу держаться на воде и что море держит меня. Мне, наверное, было лет семь, когда я сделал это великолепное открытие. До этого я барахтался в воде и, может быть, даже немного плавал, но только если я знал, что в любую секунду могу достать ногами дно.

Теперь это было совсем новое ощущение, как будто мы с морем поняли друг друга. Я теперь мог не только ходить, видеть, говорить, но и плавать, то есть не бояться глубины. И научился я сам! Я обогатил себя, никого при этом не ограбив.

Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены, через него перекачивались легкие волны. Я доплывал до него, ложился плашмя и отдыхал. Это было похоже на путешествие на необитаемый остров. Впрочем, остров был не такой уж необитаемый. С набегающей волной иногда выплескивался краб, неуклюже забегал за край скалы и, высываясь из-за камня, следил за мной злыми, хозяйскими глазами. Если глядеть в глубину, можно было заметить каких-то серебристых мальков, которые неожиданно проносились, всплывая как искры, выбитые из головешки.

Иногда я ложился на спину и, когда волна перекачивалась через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий.

Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающих легко было узнать по неестественно белым телам или искусственно темному загару. На вершине каменной глыбы, громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу – вернее, делала вид, что читает, точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней на корточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и черных, как дельфинья спина. Он ей что-то говорил. Девушка, иногда откидывала голову, смеялась и шурилась не то от солнца, не то оттого, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и зубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашка парня. Он ей все

время приятно мешал читать. Я следил за ними со своего островка и, хоть ничего не понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень иногда поворачивал голову и мельком глядел в сторону моря, как бы призывая его в свидетели. Он глядел весело и уверенно, как подобает человеку, у которого все хорошо и еще долго будет все хорошо. Мне было приятно их видеть, и я вздрагивал от смутного и сладкого сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое.

От долгого купания я продрог, но, не успев как следует согреться на берегу, снова лез в воду. Я боялся, что чудо не повторится и я не смогу удержаться на воде.

До скалы и обратно – раз. До скалы и обратно – два, до скалы и обратно... И вдруг я понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль, холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу, я услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку.

Не знаю почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал, возможно, язык отнимался от страха. Но мысль работала ясно. Оттого, что я не мог кричать, было страшно, как это бывает во сне, и я с отчаянной жадной ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой грустной мыслью я опять погрузился в воду, она казалась мутной и равнодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с удесятенной отчетливостью слышались голоса людей. И тем обидней было тонуть у самого берега.

Второй раз я вынырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели, и теперь совсем близко увидел туфлю парня, черную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком.

Я даже разглядел металлический наконечник на шнурке. Я вспомнил, что такие наконечники на моих ботинках часто почему-то терялись, и концы шнурков делались пушистыми, как кисточки, и их трудно было продеть в дырочки на ботинках, и я ходил с развязанными шнурками, и меня за это ругали. Вспоминая об этом, я еще больше пожалел себя.

В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою сторону и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом припоминает меня.

«Это я, я! – хотелось крикнуть мне. – Я проплывал мимо вас, вы должны меня вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо; я боялся, что волнение и страх так исказили его, что парень меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней, и я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной.

Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. От радости и от тепла, постепенно разливавшегося по телу, хотелось тихо и благодарно скулить. Но я не только не благодарил, но молча и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что мое спасение не стоит его намокшей одежды, и старался оправдаться серьезностью своего положения.

– Надо сделать искусственное дыхание, – раздался голос девушки надо мной.

– Сам очухается, – ответил парень, и я услышал, как хлопнула вода в его туфле.

Что такое искусственное дыхание, я знал и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склоненное надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими, выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб, рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь.

– Трави, трави, – сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку.

Рубашка потемнела, но у самого ворота была белой, как и раньше: туда вода не доставала. Когда он заговорил, я понял, что расплаты за причиненный ущерб не будет. Я сосредоточился и «стравил»: было приятно, что у меня в животе столько воды. Ведь это означало, что я все-таки по-настоящему тонул.

– Будешь теперь заплывать? – спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую рубашку.

Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался нарядным.

– Не буду, – охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить.

– Напрасно, – сказал парень и еще туже закрутил рубашку.

Я решил, что это необычный взрослый и действовать надо необычно.

Я встал и, шатаясь, пошел к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и девушка держала в руках свою ненужную, наконец закрытую книгу. Я лег на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло разогретых камней.

Так он и ушел навсегда со своей девушкой, ушел, мимоходом вернув мне жизнь.

Детский сад

Он был расположен на нашей улице совсем недалеко от нашего дома. Первое время, когда я скучал по дому, я подходил к решетчатым воротам и смотрел на темно-кирпичный двухэтажный дом с балкончиками на втором этаже. Было приятно убедиться, что он стоит на месте.

Обычно на балконе сидела тетя и, покуривая папиросу, переговаривалась через улицу с соседями – учила их жить.

Сначала ходить туда было неохота. Хотел избавиться, но не знал как. Однажды мимо нашего дома, весело провывая сиреной, промчалась пожарка. «Детский сад горит!» – закричал я и бросился к окну. Все рассмеялись. Не понимал почему. Потом оказалось, что пожар совсем в другом месте.

Но с годами, как говорится, я к нему привык и в конце концов полюбил. Это было старенькое одноэтажное здание, облепленное со всех сторон флигельками, похожими на избышки из детских сказок. Наверное, в нем было тесно, но мы тогда этого не замечали.

Посреди двора был прорыт большой котлован. Мы знали, что здесь будет новое здание детского сада. Но строили в те годы слишком медленно, а мы росли слишком быстро, и было ясно, что не успеем пожить в новом здании. Но это нас не огорчало, пользовались тем, что было.

Бросали негашеную известь в канаву с водой. Булькало и шипело. Шел дым. Запах индустриализации щипал ноздри.

Однажды кто-то бросил в канаву котенка. Помню его мордочку, судорожно вытянутую над водой, и огромные замученные глаза. Такие глаза потом, взрослым, я встречал у актрис и у женщин, во что бы то ни стало решивших считать себя несчастными.

В этой же канаве мы запускали бумажные кораблики с бумажными парусами. Кораблики неподвижно стояли на воде. Внезапно, уловив движение воздуха, быстро пересекали канаву.

Мы не придавали игре большего значения, чем она стоила. Бумажные кораблики были бумажными корабликами, и ничего больше. Это потому, что рядом было настоящее море и по нему ходили настоящие корабли.

Лесик был бледный, застенчивый мальчик. Обычно он молча стоял рядом с нами, не принимая участия в наших играх.

Однажды он вынул из кармана сережку и, краснея от стыда, протянул ее мне.

– Кораблик, – сказал он, стараясь понравиться.

Я понял, что он ничего не понимает. Я спрятал сережку и постарался отвлечь его великолепным каскадом остроумных выдумок. Лесик порозовел от удовольствия. Я сделал королевский жест и подарил ему свой кораблик. Показал, как дуть в паруса, и предупредил ребят, чтобы его не трогали.

Я ему хотел еще подарить морскую пуговицу с якорем, но он уже вошел в азарт, и я решил, что сейчас правильной будет не отрывать его от коллектива.

Почему-то я знал, что надо делать с сережкой. На углу рядом с детским садом стоял старик, с лицом небритым и морщинистым, как старая кора. Под стеклом лотка, как рыбы в аквариуме, горели малиновые леденцы. Старик продавал леденцы. Возможно, это был последний частник на нашей земле.

Мы с товарищем, выбрав удобный момент, пролезли в пролом ограды и побежали к этому лотошнику.

Хочется попутно рассказать о моем товарище, о нашей дружбе, вероятно, довольно странной. Во всяком случае, нетипичной.

Он жил со мной в одном дворе, и мы вместе ходили в детский сад. Я сейчас не называю его имени, потому что мне не хочется подрывать его авторитет.

Дело в том, что он теперь стал прокурором. Но я тогда этого не знал и сейчас со стыдом признаюсь, что я в те годы над ним тиранствовал.

Вообще-то, мне кажется, все нормальные дети так или иначе проходят, можно сказать, тираническую стадию развития. У одних она проявляется по отношению к животным, у других – к родителям. А у меня по отношению к товарищу. Я думаю, что настоящие, взрослые тираны – это те, кто в детстве не успел побыть хоть каким-нибудь тиранчиком.

Дело не ограничивалось тем, что, когда его родителей, а главное, бабки не было дома, я не вылезал из сахарницы. Но главное – халва.

Отец моего друга работал одно время на каком-то сказочном предприятии, где готовили халву. У нас говорят: кто варит мед, хоть палец, да облизнет. В доме бывала халва.

Она стояла на буфете. Она высилась над тарелкой как горная вершина, или, точнее, Вершина Блаженства, прикрытая, как облаком, белоснежной салфеткой. Ровная, гладкая стена с одной стороны, крутые спуски, опасные трещины и сладостные осыпи – с другой. Я вонзал в нее вилку, как альпеншток. Я с хрустом отваливал великолепные куски, попутно выколупливая ядрышки ореха, как геолог ценные породы.

Но пойдем дальше. Выкладываться, так уж до конца. Страшно признаться, но я его вынуждал воровать деньги у отца. Это бывало редко, но бывало. Конечно, деньги не ахти какие, но на леденцы хватало. Бедняга пытался остаться на стезе добродетели, но я с какой-то сатанинской настойчивостью загонял его в такой угол, откуда только один выход: или деньги на бочку, или клеймо маменькиного сыночка.

Возможно, именно в те годы я заронил в его душу прокурорскую мечту о вечной справедливости и правопорядке. И все-таки я его очень любил.

После работы родители часто ходили с ним гулять. Такой постыдно нарядный, тщательно промытый симпатяга между сияющими родителями.

О, с какой ревностью и даже ненавистью я следил за ними, чувствуя, что меня обкрадывают! Каналья все понимал, но делал вид, что его силком тащат, а он ни при чем. Но я-то видел, как ноги его пригварцовывали от радости.

Случалось, что мы ссорились. Я думаю, что эти дни для него были вроде каникул. А я мучился. Я пускал в ход всю свою изобретательность, подсылал знакомых ребят и не успокаивался до тех пор, пока нас не примиряли.

Правда, внешне все выглядело так, как будто обе стороны пришли к взаимовыгодным соглашениям. Политика!

Однажды после особенно длительной ссоры нас примирили. Я, не сдержавшись, проявил такую буйную радость, что выглядел неприлично даже с точки зрения не особенно щепетильного детского кодекса.

Ради справедливости надо сказать, что я был сильнее и нередко защищал его от задиристых ребят с нашей улицы. Склонности разрешать уличные конфликты при помощи кулаков он и тогда не проявлял. Видно, как чертовски далеко он смотрел.

Можно сказать, напротив, он полагался не столько на руки, сколько на ноги. Бегал как олененок.

Это потому, что он был худеньким и нервным ребенком. Не знаю, отчего он был нервным (нельзя же сказать, что я его настолько задержал), но худеньким он был оттого, что его пичкали едой. И, как многие дети хорошо обеспеченных родителей, он рос в неодолимом отвращении к еде.

К тому же, в виде дополнительной нагрузки, он еще был единственным ребенком.

У меня все было проще. Я не был единственным ребенком и никогда не страдал отсутствием аппетита. Не помню, как насчет материнского молока, но всякую другую еду принимал с первобытной радостью.

Этим я не хочу сказать, что меня в отличие от товарища держали в черном теле или я вырос в сиротском приюте. Ничего подобного. Кусок хлеба с маслом в моей руке не был такой уж редкостью. Но все дело в том, какой слой масла на этом хлебе. Вот в чем штука.

Теперь я понимаю, что родители его отчасти терпели меня из-за моего аппетита.

Когда мой друг впадал в очередную гастрономическую хандру, меня призывали на помощь в качестве аппетитчика, или заразительного примера. Я охотно отзывался на такие призывы.

Обычно на стол подавала бабка, вынужденная примириться с моим присутствием под влиянием более могущественных сил. Легко представить, как она меня ненавидела, хотя бы по такому примеру. Однажды после легкого набега, когда мы, как обычно, через форточку выходили из его квартиры, она появилась во дворе. По нашим расчетам, она должна была появиться гораздо позже.

От волнения, уже наполовину высунувшись, я застрял в форточке. Можно сказать, что дух мой уже был на свободе, а сам я висел на форточке в состоянии какого-то дурацкого равновесия. Вот так вот, покачиваясь, я смотрел на нее сверху вниз, а она на меня снизу. Я чувствовал, что ее особенно раздражает, как проявление дополнительного нахальства, то, что я продолжаю висеть. Но вот она вышла из оцепенения, открыла дверь, и, как я вслепую ни отбивался ногами, та часть тела, которая оказалась недостаточно сухопарой, порядочно пострадала. В конце концов я вывалился, оставив у нее в руках кусок штанов, как ящерица оставляет хвост.

Но ей этого было мало. Только я дома рассказал довольно правдоподобную историю о том, как злая соседская собака напала на меня на улице, а мама приготовилась идти устраивать скандал, как появилась бабка, держа в руке проклятый трофей.

Она, конечно, все выложила, и мама, побледнев от гнева, уставив грозный перст на несчастный клочок, спросила:

– Откуда это?

В глубинах ее голоса клокотал призыв закипающей лавы.

– Не знаю, – сказал я.

Мне тогда крепко досталось, так как ко всем своим проделкам я еще лишил ее удовольствия поговорить с соседкой начистоту. У них были свои счета.

Так вот, эта самая бабка обычно подавала нам обед. Мне она накладывала не особенно густо, как бы для затравки основного мотора. Но я не давал себя провести и быстро съедал свою неполноценную порцию, пока мой друг ковырялся в какой-нибудь котлете, вяло шлепая губами, потрескивая накрахмаленным панцирем салфетки и поглядывая на меня тоскливыми глазами вырождающегося инфанта.

Бабка начинала нервничать и в сотый раз рассказывала жалкий анекдот про одного мальчика, который плохо ел, а потом заболел чахоткой. Внук вяло внимал, а дело двигалось медленно. У меня же, наоборот, чересчур успешно.

– Чай не на пожар? – спрашивала бабка ехидно.

– А я всегда так кушаю, – отвечал я неуязвимо.

Проглотив последний кусок, я глядел на нее с видом отличника, который первым решил задачу и еще хочет решить, была бы только потрудней. Чтобы оправдать истраченное, ей приходилось давать мне добавку. По лицу ее расплывались красные пятна, и она тихонько шипела внуку:

– Ешь, холера, ешь. Посмотри, как уплетает этот волчонок.

Внук смотрел мне в рот с какой-то бесплотной завистью и продолжал мямлить. Златые горы, которые обычно обещались на третье, не производили на него никакого впечатления.

Но стоило бабке выйти из комнаты на минуту, как он перебрасывал мне что-нибудь из своей тарелки. После этого он оживлялся и доедал все остальное довольно сносно. Сознание, что бабка обманута (не особенно поощрительное для будущего прокурора), вдохновляло его. А вдохновение, видно, необходимо и в еде.

Бабка чувствовала, что дело нечисто, но была рада, что он все-таки ест хоть так.

После такого обеда мне хотелось посидеть, поблагодарить, но бабка бесцеремонно выдворяла меня.

– Наелся, как бык, и не знает, как быть, – говорила она, – давай, давай.

Я не обижался, потому что никогда не был особенно высокого мнения о ее гостеприимстве. Удаляясь с видом маленького доктора, я говорил:

– Если что, позовите.

– Ладно, ладно, – бурчала бабка, выпуская меня за дверь, испытывая (я это чувствовал) неодолимую потребность дать мне подзатыльник.

Однако я сильно отвлекся – вернемся к леденцам.

Высочив из детского сада, мы с товарищем осторожно подходим к лотку. Под стеклом простирается заколдованное царство сладостей. Беззвучно кричат петухи, беззвучно лопочут попугаи, и подавно безмолвствуют рыбы. Большая лиса, льстиво изогнувшись, так и застыла рядом с явно пограничной собакой, бдительно наострившей уши.

В этом маленьком раю животные жили мирно. Никто никого не кусал, потому что все сами были сладкими.

Мы с товарищем иногда покупали леденцы, а чаще просто стояли возле лотка, глядя на все это богатство. Обычно старик, звали его дядя Месроп, не давал нам долго задерживаться.

– Проходи дальше, – говорил он и таращил глаза. Может быть, ему было жалко, что мы бесплатно пожираем глазами его леденцы, а может быть, мы ему просто надоедали.

Зато когда он бывал под хмельком, мы устраивали ему концерт. Пели в основном две песни: «Цыпленок жареный» и «Там в саду при долине». Песни разбирали Месропа. Бог знает, что он вспоминал! Толстые щеки его багровели, глаза делались красными.

– Пропал, Месроп, пропал, – говорил он и сокрушенно бил себя ладонью по лбу.

Мне самому эти песни нравились. Особенно вторая. Потрясали слова: «И никто не узнает, где могилка моя». Я ее понимал почему-то не как песню бездомного сиротки, а как песню последнего мальчика на земле. Никого-никого почему-то не осталось на всем белом свете. И вот один-единственный мальчик сидит на крыше маленького домика, смотрит на заходящее солнце и поет: «И никто не узнает, где могилка моя». Ну кто же мог узнать, если все, все умерли, а он остался один. Ужасно тоскливо.

Дядя Месроп звучно сморкался и выдавал нам по петушку. Это были мои первые и, как я теперь понимаю, самые радостные гонорары. К сожалению, он бывал готов к восприятию нашего пения реже, чем хотелось бы.

И вот мы с товарищем стоим перед лотком. Я вынимаю из кармана сережку и протягиваю Месропу. Я знаю, что он сейчас спросит, и потому приготовился отвечать.

Осторожно ухватив толстыми пальцами золотую сережку с водянисто-прозрачным камушком внутри, дядя Месроп подносит ее к лицу и долго рассматривает.

– Где воровал? – спрашивает он, продолжая глядеть на сережку.

– Нашел, – говорю я. – Играл возле канавы и нашел.

– Дома украл? Халам-балам будет, – говорит он, не слушая меня. – Месропу хватит свой халам-балам.

– Нашел, – старался я пробиться к нему, – халам-балам не будет.

– Как не будет! – горячится он. – Украл – халам-балам будет. Мама-папа халам-балам! Милиция – большой халам-балам будет!

– Не будет милиция, не будет халам-балам, – говорю я. – Я нашел, нашел, а не украл.

Лицо у Месропа озабоченное. Он достает большой грязный платок и протирает сережку. Камушек сверкает, как капелька росы. Продолжая бурчать, он заворачивает сережку в платок и запирает ее узелком. Платок осторожно всовывает во внутренний карман.

И вот открывается лоток. Волосатая рука Месропа достает двух петушков, потом, немного помешкав, добавляет двух попугаев.

– Халам-балам будет, – говорит Месроп, не то сожалея, не то оправдываясь, и передает мне увесистый пучок леденцов.

Я делюсь с товарищем, мы бегом огибаем угол и вот уже снова в саду. Прячась за стволом старой шелковицы, жадно обсасываем леденцы. Привкус чего-то горелого придает им особую приятность. Леденцы делаются все тоньше и тоньше. Сначала малиновые, потом красные, потом розовые и прозрачные, с отчетливой, в маленьких ворсинках палочкой внутри. Когда леденцы кончились, мы тщательно обсосали палочки. Они тоже были вкусными. К сладости примешивался смолистый аромат сосны.

На следующий день я снова встречаюсь с Лесиком и осторожно наведываюсь, нет ли у него еще таких корабликов. Он радостно выворачивает карманы и подает мне всякую чепуху, явно не имеющую меновой стоимости.

Конечно, я понимал, что совершил проступок: взял у него взрослую вещь. Но угрызений совести почему-то не чувствовал. Я только боялся, как бы его родители не кинулись искать сережку.

И все-таки возмездие меня покарало.

Во дворе нашего сада стояло несколько старых, развесистых грушевых деревьев. Мы жадно следили за тем, как они цветут, медленно наливаются за лето и наконец поспевают в сентябре.

Иногда, прошелестев в листве, груша задумчиво падала на землю, усыпанную мягким песком. И тут только не зевай.

И вот однажды на моих глазах огромная краснобокая груша тупо шлепается на землю. Она покатилась к бачку с водой, где пила воду чистенькая девочка с ангельским личиком. Груша подкатилась к ее ногам, но девочка ничего не заметила. Что это было за мгновение! Волнение сдавило мне горло. Я был от груши довольно далеко. Сейчас девочка оторвется от кружки и увидит ее. На цыпочках, почти не дыша, я подбежал и схватил ее, свалившись у самых ног девочки. Она надменно взмахнула косичками и отстранилась, но, поняв, в чем дело, нахмурилась.

– Сейчас же отдай, – сказала она, – я ее первая заметила.

Бессилие лжи было очевидным. Я молчал, чувствуя, как развратная улыбка торжества раздвигает мне губы. Это была великолепная груша. Я такой еще не видел. Огромная, она не укладывалась на моей ладони, и я одной рукой прижимал ее к груди, а другой очищал от песчинок ее поврежденный от собственной тяжести, сочащийся бок. Сейчас мои зубы вонзятся в плод, и я буду есть, причмокивая от удовольствия и глядя на девочку наглыми невинными глазами.

Теперь я понимаю, что я был к ней не вполне равнодушен. А так как приударить за ней мне не позволяло мое мужское самолюбие, я возненавидел ее и, как сейчас вспоминаю, распространял о ней самые фантастические небылицы. Теперь я убедился, что многие взрослые так и поступают в подобных случаях.

И вот я стою перед девочкой и медлю, предвкушая иезуитское удовольствие есть на ее глазах грушу, смиренно доказывая при этом преимущества своих прав, одновременно не полностью отрицая и ее права. Теоретически, конечно. Но тут на беду подходит к нам воспитательница из группы девочки – тетя Вера.

– Что случилось, Леночка? – медовым голосом спросила она.

– Он взял мою грушу, тетя Вера, – ответила Леночка, ткнув пальцем в мою сторону. – Я пила воду и положила грушу на землю, – добавила она бесстыдно.

– Все врет она, – перебил я ее, чувствуя, что вообще-то я мог у нее отнять грушу и потому мне могут не поверить.

– Ну, хорошо, – сказала тетя Вера, – как поступают хорошие мальчики, когда они находят грушу?

Я затосковал. Я почувствовал непрочность всякого счастья. Я знал, что и плохие и хорошие мальчики съедают найденные груши, даже если они червивые. Но тетя Вера ждала какого-то другого ответа, который явно грозил потерей добычи. Поэтому я молчал.

Тогда тетя Вера обратилась к Леночке:

– Как поступают хорошие девочки, когда они находят грушу?

– Хорошие девочки отдают грушу тете Вере, – ласково сказала Леночка. Такая грубая лесть слегка смутила воспитательницу. Она решила поправить дело и сказала:

– А для чего они отдают грушу тете Вере?

– Чтобы тетя Вера ее скушала, – сказала Леночка, преданно глядя на воспитательницу.

– Нет, Леночка, – мягко поправила она свою любимицу и, уже обращаясь к обоим, добавила: – Груша пойдет на компот, чтобы всем досталось.

С этими словами тетя Вера отобрала у меня грушу и, не зная, куда ее положить, сунула в развилку ствола, как бы вернув ее настоящему хозяину.

Тетя Вера взяла Леночку за руку, и они удалились, мирно беседуя. Я чувствовал, что затылок Леночки показывает мне язык.

Убедившись, что грушу невозможно достать, я, как это ни странно, довольно быстро успокоился. Мысль, что моя груша пойдет на общий компот, доставляла взрослое удовольствие. Я почувствовал себя взрослым государственным человеком, одним из тех, кто кормит детей детского сада. Об этом нам часто напоминали. Я похаживал возле дерева, солидно заложив руки за спину, никого не подпуская слишком близко. Как бы между прочим, пояснял, что грушу нашел я и добровольно отдал на общий компот. Тогда я еще не знал, что лучший страж добродетели – вынужденная добродетель.

За обедом я не просил ни добавок, ни горбушек. Я просто понял, что горбушек не может хватить на всех. А если так, пусть они достаются другим. Во всяком случае, человек, отдавший свою грушу на общий компот, не станет лезть из кожи, чтобы заполучить какую-то там горбушку.

На третье подали компот. Я скромно ел его, аккуратно выкладывая косточки в тарелку, а не стараясь, как обычно, выдуть их кому-нибудь в лицо. Сам я о груше не напоминал, но мне казалось естественным, что другие о ней вспомнят во время компота. Это было бы вполне уместно. Однако все весело уплетали компот, и никто не вспоминал о моей груше. Неблагодарность человечества слегка уязвила меня, и я почувствовал себя совсем взрослым.

Я вспомнил свою дорогую тетю, которая называла своих племянников неблагодарными, тогда как она всю свою цветущую молодость загубила на нас. И хотя я загубил на детский сад не молодость, а только грушу, я теперь ее хорошо понимал. Я глядел на лица своих товарищей, и мне было приятно видеть вокруг себя столько неблагодарных детей.

Наверное, я выглядел необычно, потому что добрая тетя Поля, кормившая нас, сказала:

– Что-то ты у меня сегодня квелый. Не заболел ли? – Она тронула шершавой ладонью мой лоб, но я с мрачной усмешкой отстранил ее руку.

Но самое страшное ждало впереди. Выйдя из детского сада, я заметил тетю Веру, она стояла на тротуаре и разговаривала с каким-то парнем. В руках ее покачивалась сетка, на дне которой лежала моя груша. Моя груша! Я не мог не узнать ее красный бок. Но я не хотел верить своим глазам. Я обошел тетю Веру и посмотрел на грушу с другого бока. Конечно, моя. С этой стороны она была разбита, как тогда, только рана потемнела. Полосатая, как тигр, оса пыталась

присесть на нее. Ей не удавалось усесться, потому что тетя Вера все время покачивала сетку. Наконец сетка остановилась, и оса уселась на мою грушу. Я вздрогнул и посмотрел на тетю Веру. Наши взгляды встретились. Я почувствовал, что неудержимо краснею от стыда, боясь, что она догадается, что я все знаю.

Возможно, она просто так посмотрела, но я бросился бежать и бежал до самого дома.

Так окончилась моя вторая попытка стать взрослым. Во время первой я вымазал голову киселем и плотно зачесал волосы назад. Великолепная прическа держалась до вечера. Вечером голову мою нещадно намылили и, с хрустом раздирая волосы, вернули их в обычное состояние.

После груши я решил с этим делом не очень спешить, хотя все мои любимые герои, начиная от Иванушки-дурачка и до челюскинцев, были взрослыми людьми.

Возможно, я переусердствовал в этом решении, потому что теперь иногда попадаю впро-сак, как говорят, из-за детской доверчивости. Зато есть и свои преимущества. Так называемые душевные раны на мне быстро заживают, как на детях и собаках.

Мой первый школьный день

Я пошел в школу на год раньше, чем это было положено мне по возрасту, и дней на двадцать позже, чем это было положено по учебному календарю. Думаю, что в том и другом сказалось раненое честолюбие нашего семейства, требовавшее скорейшего возмездия за все неудачи нашей жизни.

Простейшей формой семейного невезения была учеба моего старшего брата. Мой старший брат, обладая многими более скрытыми достоинствами, имел один откровенный недостаток – он плохо учился. Но сказать, что он плохо учился, – почти ничего не сказать. Он как-то сказочно, феерически плохо учился. Он попадал в каждую историю, которая случалась в школе и ее ближайших окрестностях.

С учителем немецкого языка, антифашистом, в свое время бежавшим из Германии, он (разумеется, не один) проделывал такие штучки, что тот иногда в ближайшем окружении признавался, что хочет бросить все и вернуться на родину, хотя целиком и полностью одобряет политику Советского Союза.

Примерно раз в неделю учителя с выражением суховатой скорби горевестников на лице входили в наш двор. И хотя в те времена с полдюжины ребят возраста моего брата учились в той же школе, завидев учителя, соседи по дому, а иногда даже и по улице с каким-то тайным сладострастием спешили окликнуть маму:

– Опять к тебе!

Так и вижу маму, бледную, выпрямляющуюся с примусной иглой в руке, при помощи которой она пыталась укротить примус, этого маленького, вечно бунтующего коммунального хулиганчика. Вот она бросает иглу рядом с примусом, вытирает тряпкой руки и обреченно приглашает учителя в дом:

– Заходите...

Учитель проходит в дом, а соседи, притихшие было с тем, чтобы послушать, о чем будет говорить учитель, снова берутся за свои дела. Они всегда надеялись, что она как-нибудь забудется и начнет разговаривать с учителем во дворе. Но мама никогда не забывалась и никогда не доставляла им этого удовольствия. Зато в тех редких случаях, когда они ошибались, то есть окликали маму, а учителя просто проходили мимо нашего дома или входили во двор, но шли к родителям другого ученика, мама, обрушиваясь на их скоропалительные выводы, частично утешала свою душу, жаждавшую возмездия.

Один из моих дядей, а именно дядя Самад, опустившийся юрист, который на базаре из столика в кофейне устроил себе конторку для писания прошений крестьянам и получавший за это свой гонорар в виде непосредственной выпивки, обычно к вечеру возвращался домой, пошатываясь.

Если он задерживался, бабушка посылала меня за угол, квартала за два от нашего дома. Там проходила улица, ведущая с базара, и дядя Самад обычно по ней возвращался домой. Бабушка меня посылала туда подежурить, с тем чтобы он не попал под машину, или вовремя перехватить его, если другие пьянчуги попытаются его куда-нибудь увлечь.

Кроме того, а может быть, главным образом потому, ей казалось приличней перед соседями, если дядюшка будет идти по нашей улице не один, а с племянником, что, вероятно, как-то скрадывало не столько его пьяное состояние, сколько облик одинокого, опустившегося человека.

В свое время бабушка изгоняла нескольких женщин, которых он приводил домой в качестве жен, по-видимому, находя их в обозримых из кофейни окрестностях базара. Может быть, в глубине души она чувствовала некоторую вину за суровую расправу с этими женщинами, хотя вслух никогда в этом не признавалась.

Должен сказать, что я с удовольствием шел встречать дядюшку, потому что он приносил мне в кармане горсть конфет, а то и просто деньги дарил, жалкие остатки своего дневного заработка. Разумеется, тогда они мне не казались жалкими.

Обычно, отдавая мне остатки своего дневного заработка, он говорил:

– Тот, кто был богатым и обнищал, еще тридцать лет чувствует себя богатым. Тот, кто был нищим и разбогател, еще тридцать лет чувствует себя нищим.

Правда, иногда он меня раздражал совершенно непонятным, бессмысленным бормотанием, в котором я пытался уловить смысл и никак не мог. Может, именно в те годы я неосознанно полюбил ясность и четкость образа мыслей, то дополнительное удовольствие, которое они доставляют сами по себе, независимо от своего содержания, более того, придают ей, мысли, какую-то аппетитность, как бы она ни была мала, облагораживают ее отсветом божественной гармонии и в конце концов делают ее частью всеобщего стремления человечества к ясности как единственной в конечном итоге задаче разума. Люди, не стремящиеся к ясности мышления, разумеется, в данных им скромных пределах или тем более стремящиеся к туманностям, могут рассматриваться как генетически поврежденные, увеличивающие мировой хаос вместо того, чтобы уменьшать его, что является прямой обязанностью каждого человека.

...И вот, значит, я шел встречать дядюшку в конце второго квартала от нашего дома. Как раз в этом месте находилась наша школа. Иногда я заставал своего дядюшку, стоящего перед школой, к счастью, в это время пустующей. Он стоял перед зданием школы и произносил небольшой реваншистский монолог, который ему казался диалогом со всем школьным начальством, а может быть, и с самой судьбой.

– Посмотрим, – говорил он, глядя в разинутые окна пустой школы, – что вы скажете, когда следующего придем... Живы будем, посмотрим...

– А-а, вот он, – добавлял он, увидев меня, – скажи, как называется французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление в Первую мировую войну.

– Верден! – говорил я и добавлял: – Дядя, пойдем, бабушка ждет!

– Верден! – повторял дядя и бросал грозный взгляд на школу. – А теперь что скажете?

– Бабушка ждет, – повторял я и тянул его за руку.

– А как называется вторая французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление? – спрашивал он у меня.

– Дуомон! – говорил я, потому что читал книгу под названием «Рассказы о мировой войне» и мог ее в то время пересказать довольно близко к тексту.

– Дуомон! – повторял дядюшка и пальцем грозил школе, как бы обещая повернуть против нее все пушки Вердена и Дуомона.

Его легкая фигура, его удлиненное лицо с артистической копной редких волос почему-то напоминали, особенно сейчас, облик Суворова.

Иногда, прежде чем уйти домой, он заставлял меня ответить еще на несколько вопросов или прочесть стихи Пушкина, или басни Крылова. Среди вопросов, на которые я давал четкие ответы, почему-то чаще всего повторялись два: «На какой остров сослали Наполеона?» и «Какой главный город в Абиссинии?»

Обычно после этого он успокаивался и мы шли домой. Иногда он слегка на меня опирался, и я чувствовал высушенную алкоголем легкую тяжесть его тела. Если я успевал перехватить его еще до того, как он вышел к школе, я его протаскивал мимо нее, не останавливаясь, и он только успевал ей бросить через плечо:

– Посмотрим!

Реваншистские надежды моего дядюшки основывались на двух фактах: во-первых, я уже довольно свободно читал, а во-вторых, я однажды ответил на задачу, которую задавал ребятам нашего двора шапочник Самуил, в то время проявлявший неукротимое стремление к самообразованию и просветительским парадоксам.

Однажды, собрав ребят нашего двора, тех, что были постарше, он задал им один из своих вопросов-ловушек:

– А теперь, ребята, повесьте уши на гвоздь внимания. Сколько будет, если от тысячи отнять девятьсот девяносто девять?

Воцарилась тишина, терпеливо ждущая явление нового Архимеда. Нас, самых маленьких, никто не принимал всерьез, и тем сладостней я, во всяком случае, старался найти ответ на его хитроумный вопрос.

Помню, по самому его голосу было ясно, что ответ должен быть самый неожиданный из всех возможных. Я знал, что тысяча – огромная цифра, хотя смутно представлял границу ее огромности. Кроме того, я был уверен, что девятьсот девяносто девять тоже цифра немалая, хотя, конечно, значительно уступающая тысяче.

Я представил себе обе цифры в виде войска. Я представил, что на несметное войско в тысячу человек напало другое войско числом в девятьсот девяносто девять человек, и хотя нападающих было несколько меньше, но они оказались более храбрыми. Кстати, поэтому-то они и напали.

Так чем же закончилась эта битва? Что осталось от войска в тысячу человек? Конечно, нападающие разгромили несметное войско, но не так, чтобы ничего не оставалось, а так, чтобы остался самый предел, когда меньше уже просто невозможно. Какой же это предел?

– Один, – проговорил я под напором ясновидящей силы вдохновения, глядя на последнего воина из несметной тысячи, с поникшей головой стоящего на поле боя.

Удивленные головы всех ребят повернулись в мою сторону.

– Правильно, – подтвердил мою догадку дядя Самуил и неожиданно добавил: – Ленинская голова...

Это был высший взлет моих математических способностей, но об этом тогда никто, разумеется, не мог догадаться.

Кстати, дядя Самуил был владельцем нескольких томов Большой Советской Энциклопедии, которую он читал почти каждый день, приходя с работы. Судя по характеру его чтения, читал он обычно, сидя на деревянных ступеньках своего крыльца, знания сами по себе, независимо от области их применения, давали ему ощущение удовольствия. По-видимому, научные факты радовали его, как некая могучая воспитывающая сила. Так, однажды он сообщил, листая энциклопедию, что, оказывается, Токио – самый большой город в мире.

Он об этом сказал с восхищением, и, конечно, нельзя было не восхититься тем, что Токио – самый большой город в мире. И хотя было ясно, что японский империализм ничем не заслужил иметь самый большой город в мире, по-видимому, японский пролетариат рано или поздно должен был догадаться, что нельзя оставлять в его руках этот рекордный по численности населения город, то есть совершить революцию. По-видимому, и дядя Самуил, и мы именно так понимали воспитательный смысл размеров Токио, иначе как мы могли этому радоваться? Это все равно что было бы радоваться большому количеству вражеских пушек или танков.

Между прочим, у дяди Самада время от времени происходили споры с дядей Самуилом. Споры эти всегда начинал мой дядя, но удивительно было, с каким терпением и охотой вступал в них дядя Самуил и как твердо, ни разу не дрогнув, он отстаивал свои позиции.

Накал спора обычно зависел от силы похмельного раздражения моего дядюшки. Так и вижу его, как он входит, пошатываясь, во двор, потом подымается по лестнице и где-то на первой лестничной площадке начинает, даже если Самуила не видно на крыльце:

– Нехорошо, Самуил, отречься от нации, – начинал дядюшка с горестных интонаций, постепенно переходя на гневное раздражение, – лучше быть падшей женщиной, чем отречься от нации!

Если дяди Самуила не было дома, дядя проходил к себе в комнату, бросив еще одну-две фразы в таком же духе. Но если дядя Самуил был дома, то не успевал мой дядя дойти

до верхней лестничной площадки, как тот появлялся в дверях своей квартиры и, отбросив марлевою занавеску от дверей, принимал бой.

– А я и не отрекаюсь, – спокойно отвечал он ему, – я родился караимом и караимом буду до смерти.

– Нет, дорогой мой, – отвечал дядя с безгливой горечью, – ты отрекаешься от своей нации, потому что караимы – это крымские евреи, так называемые крымчаки.

– Неправда, – настаивал на своем дядя Самуил, – мы караимы – потомки древних хазар. Так сказано в Большой Советской Энциклопедии.

О том, что это сказано в Большой Советской Энциклопедии, он говорил с таким видом, как если бы, будь то же самое сказано в Малой Советской Энциклопедии, еще кое-как можно было подвергнуть сомнению, но если уж об этом говорится в Большой, то тут уж никто не должен сомневаться.

– Глупая голова! – продолжал дядя, останавливаясь на лестнице и стараясь принаравливать свою речь к таинственному ритму опьянения. – Караимы – это остатки вавилонского пленения древних евреев.

– Во-первых, не остатки, а потомки, – спокойно отвечал дядя Самуил, – а во-вторых, не евреев, а хазаров...

– Ну, подумаешь, Самуил, признай, – иногда выглядывая из окна или стирая во дворе, вмешивалась в спор его жена, одесская еврейка. Но он и тут ни на шаг не сдавал своих позиций.

– У нас с вами ничего общего, – твердо отвечал он ей и как бы для полноты правдивой картины добавлял: – Кроме некоторых религиозных обрядов...

Он это добавлял с некоторым оттенком раздражения в голосе, по-видимому, имея в виду, что эта ничтожная общность обрядов будет еще долгое время смущать головы недалеких людей.

– Тогда зачем ты на меня женился, Самуил? – спрашивала жена его с выражением какой-то дурацкой тревожности в голосе.

– По глупой молодости, – отвечал дядя Самуил, стараясь отстранить ее от спора.

Интересно, что иногда, когда он начинал ссылаться на Большую Советскую Энциклопедию, спор принимал совершенно неожиданный для меня оборот.

– Энциклопедия, – иронически повторял дядюшка, – а что Ленин про нэп говорил, в энциклопедии не сказано?

– Новая экономическая политика, – твердо разъяснял дядя Самуил, но и после его разъяснения эти слова оставались непонятными. А то, что случалось после его слов, не только не вносило никакой ясности, но окончательно запутывало все.

Дело в том, что, как только раздавался голос дядюшки, вступившего в спор с Самуилом, бабушка в сопровождении моего сумасшедшего дяди Коли появлялась на лестничной площадке. Вид дяди Коли говорил, с одной стороны, о желании мирно уладить спор, а с другой стороны – о готовности в случае необходимости прервать его силой. Все-таки сам он склонялся мирно уладить этот спор, разумеется, не имея даже самого отдаленного представления о его содержании. С этой целью он, обращаясь к дяде, говорил, дескать, выпил, дескать, расшумелся, ну и хватит, надо дать людям отдохнуть. Бабушка тоже увещевала дядю; стыдила его и всячески уговаривала его войти в дом. Но он ни на дядю Колю, ни на бабушку ни малейшего внимания не обращал, не удостоивал их даже взгляда, а только иногда отмахивался.

Но как только он заворачивал в сторону нэпа, бабушка мгновенно преображалась и приказывала ему тут же замолчать, разумеется, он от этого не только не умолкал, а как бы еще больше взвизывался.

Тут бабушка прикрикивала на дядю Колю в том смысле, что он не для того сюда приведен, чтобы слушать спор, а для того, чтобы принимать энергичные мужские меры.

Но дядя Коля в таких случаях никогда не мог сразу преобразиться решительным образом, ведь он не понимал, что дядя перешел на нэп, он думал, что идет все еще обыкновенная пьяная болтовня. Но тут, видя, что бабушка требует от него решительных мер, а поведение дяди внешне никак не изменилось, он приходил в большое волнение и уже нарочно раздражал себя, чтобы перейти к решительным мерам. И тут любое действие дяди Самада воспринималось им с каким-то наигранным преувеличением. Так, например, обыкновенную отмашку рукой, мол, отстаньте, он выдавал за попытку дяди ударить бабушку или его и тут же, возбудив себя, легко переходил к карательным мерам. Он его обхватывал руками, подымал и уносил в его комнату.

– Всерьез и надолго, надолго! Вот что сказал Ленин! – кричал бедный дядя, барахтаясь в могучих объятиях дяди Коли.

Как только наверху подымался этот в известной мере междоусобный шум, снизу раздавались в виде какого-то физиологического отклика сочувственные голоса. Это одновременно начинали галдеть жена дяди Самуила и Алихан, если он бывал свидетелем спора.

– Потомок хазар! – кричала на дядю Самуила его жена. – Знаем мы вас, керченских хазаров!

А дядя Алихан, в это время сидевший на своем стульчике у порога, выбалтывал какую-то совершенно несусветную чушь:

– Кафе-кондитерски мешайт?! – спрашивал он, размахивая руками и приходя во все большее и большее возбуждение и, как мне кажется, стараясь свой монолог произнести под прикрытием шума, идущего сверху. – Алихан – ататюрк?! Гиде Алихан – гиде ататюрк?! Гюзнак мешайт?! Шербет мешайт?! Сирут на голова – не мешайт?!

Среди этого шума дядя Самуил стоял спокойно со вздувшейся, как плащ полководца, марлевой занавеской за спиной и всем своим видом говорил: как ни шумите, как ни кричите, а я буду до конца отстаивать свое право считать себя караимом. Право, подтвержденное всеми красными томами Большой Советской Энциклопедии.

Интересно, что за этим скандалом из окон трехэтажного дома сумрачно следили старейшины огромного клана грузинских евреев, живших в соседнем дворе.

Эти старцы, чьи мощные бороды не могли скрыть нежного пастушеского румянца их лиц, были вывезены в наш город из центральной Грузии их более предприимчивыми потомками.

Гривастые и кудлатобородые, они следили за этим скандалом с выражением сумрачной обиды на лице, хотя понимали по-русски чуть больше, чем жители Древнего Вавилона. И все-таки я уверен, что они интуитивно чувствовали суть спора и, грустно следя за дядей Самадом, уносимым моим сумасшедшим дядюшкой, горько обижались на дядю Самуила.

Слегка шевельнувшись в окне, они обменивались между собой несколькими фразами и снова замирали, надолго сохранив на лице выражение стойкой обиды.

...Но мы отклонились от нашего повествования. Так или иначе, именно дядя Самуил во время одного из своих просветительских опытов выявил мою якобы математическую смекалку, а читать я научился сам. Ко времени, о котором я рассказываю, я уже прочел с дюжину книг, начав сразу с «Гадкого утенка» и «Рассказов о мировой войне». Это была самая толстая и самая интересная из прочитанных мною книг.

Именно по этим причинам я был выделен в нашем вечно взбудораженном, но, в сущности, неопасном семейном роде, как пчелка, готовая приносить в дом чернильный мед школьных премудростей.

И вот в начале учебного года, помешкав примерно дней двадцать, меня бросили в бой. То, что за это взялись с некоторым опозданием, могло быть следствием слабых, впрочем, никем и не обещанных надежд, что в новом учебном году брат мой наконец возьмется за учебу.

В тот прекрасный сентябрьский день мы с мамой бодро направились в школу. Мы вошли во двор, поднялись по каменной лестнице на обширную веранду с каменными колоннами и

скамьями вдоль стены. Дверь из веранды вела в канцелярию, а из канцелярии – в кабинет директора. Одно из окон директорского кабинета выходило на веранду, так что директор во время перемены мог следить за учителями, гулявшими по веранде. Из своего окна он также мог видеть весь школьный двор и часть улицы, прилегающей к школе.

Именно из окна своего кабинета он однажды заметил маму, идущую на базар, и не поленился выскочить из кабинета, остановить ее и подойти к воротам школы. Узнав, что она идет на базар за продуктами, он выразил крайнее удивление, что она покупает какие-то там продукты, хотя в ее положении было бы гораздо проще купить пару хороших кирпичей и крепкую веревку. Когда мама спросила его, почему она должна покупать вместо продуктов пару кирпичей и веревку, он ей прямо сказал:

– Привяжись вместе с сыном и прыгай с конца причала!

При этом, по словам мамы, он заклокотал горлом, довольно натурально изобразив тот надежный булькающий звук, который послужит залогом нормальной педагогической работы в школе.

Об этом случае мама, когда у нее бывало хорошее настроение, много раз рассказывала дома. Особенно смешно было то, что, по ее словам, он после этой встречи много раз видел ее, стоя на веранде, а то и прямо из окна своего директорского кабинета, но уже больше не спускался к ней, хотя знаками давал ей знать, что предложение приобрести веревку и два кирпича все еще остается в силе.

И уже совсем смешным нам, детям, казалось то, что она, рассказывая об этом, пыталась восстановить его ужасный акцент, с которым он говорил по-русски. А так как мама сама говорила по-русски с ужасным абхазским акцентом, над которым мы довольно часто потешались, и теперь, рассказывая о смешном выговоре директора, исходила из своего выговора как правильного, тем самым вдвойне искажая достаточно искаженный язык директора, все это получалось довольно весело. Дополнительную порцию юмора мы получали уже в процессе смеха, кивая на брата, который смеялся вместе с нами над всей этой историей, как бы забыв, а может, и в самом деле забыв за путаницей обстоятельств, что он сам и есть первопричина всего этого.

Вся эта история имела еще одну забавную грань, о которой я тогда не подозревал. Дело в том, что, оказывается, ко всем своим странностям директор школы еще и преподавал русский язык, о чем я узнал где-то в пятом или шестом классе, когда он появился у нас и, стараясь вдолбить нам правила русской грамматики, года два писал их на доске в зарифмованном виде.

Но тогда я обо всем этом не знал, хотя, конечно, видел директора и знал, что у него смешная внешность и смешное имя Акакий Македонович. Конечно, мне имя могло казаться смешным, потому что я уже воспринимал его как смешного человека, хотя бы из-за маминого рассказа. Но он и в самом деле был смешной человек, и внешность у него была смешная. Он был высокого роста, имел мягкие покатые плечи, а главное, на его бледном лбу лежал совершенно детский, ну прямо как у меня, оваловидный чубчик. Когда я его впервые увидел с этим чубчиком, я был как громом поражен. Это было все равно, что увидеть взрослого человека в коротких штанишках. И потом уже, когда я поступил в школу, я думал, что он долго не продержится со своим чубчиком, что рано или поздно его вызовут в гороно и заставят зачесать куда-нибудь волосы – или вбок, или наверх – как носили взрослые в те времена, а так, с детским чубчиком, не позволят.

А вот оказалось, что позволили. Он так и ходил с этим чубчиком, и никто ему ничего не говорил, а только чубчик сам редел и редел, и в конце концов вывелся, и вопрос сам по себе отпал, если, конечно, он вообще возникал где-нибудь в недрах гороно. Донеси он его до нашего времени, когда взрослые, как древние римляне, начали снова носить эти оваловидные чубчики, можно было бы подумать, что он все предвидел, но чубчик его постепенно вывелся сам между двумя эпохами, так что только в нашей памяти он все еще ходит с этим чубчиком стареющего дитяти.

Но оставим в покое чубчик директора. Я думаю, что он был человеком странным помимо своей детской прически. Помнится, уже потом, во время моей учебы, у него долго болела жена, а потом умерла. Когда педагоги стали обращаться к нему с выражением соболезнования, он им нравоучительно отвечал: «Гнилой зуб лучше всего вырвать...»

Так что выражающие сострадание несколько смущались, не вполне понимая смысл его образа. На самом деле он очень любил свою жену и хотел сказать, что, мол, бедняжка отстрадалась, но уж такой он был недотепистый. Впрочем, возможно, он находил утешение, стараясь усмотреть в смерти жены нечто разумное, рациональное, раз уж она не могла выздороветь.

И вот к этому-то директору мы с мамой и пришли. Мы вошли в канцелярию, но дальше нас не пустили. Маленький человек, весь красный, с красными глазами, с выражением лица, какое бывает у измотанных драками, но, однако, всегда готовых к новым дракам петухов, оттеснил нас от директорской двери и постепенно вывел на веранду. Это был завуч.

– Одного не хватит? – говорил он маме, глядя на нее красными глазами измотанного, но готового драться петуха. – Второго привела?!

– Нет, этот совсем не такой, – отвечала мама, горестно усмехаясь с таким видом, словно завуч не может не знать о моих успехах, но пользуется поводом, чтобы придраться. – Владимир Варламович тоже обещал позвонить.

– Ничего не знаю, – отвечал завуч и, показывая на скамью, добавил: – Там посидите. Надо будет – вызовем... Одного еле держим, уже другого привела, и тем более в середине года.

– Да, но Владимир Варламович...

– Ох? – вдруг вскрикнул он, словно наступил на колючку голый ногой. Он заметил в метрике мой недостаточный возраст. Этого мы больше всего боялись. – Это что? Это матрикул? – повторял завуч, возмущенно тыча пальцем в мою метрику.

– Владимир Варламович все знает, он должен директору позвонить, – утешала его мать, но завуч все никак не мог успокоиться.

– Ничего не знаю, – наконец сказал он и быстро покинул веранду.

Мы с мамой уселись на скамью и стали ждать. В самом деле Владимир Варламович, работник горно, бывший житель нашего двора, обещал маме позвонить в школу, что считалось достаточным для моего поступления.

Владимир Варламович, а для меня дядя Володя, занимал квартиру рядом с нашей. По-видимому, от бездетности он и жена его меня баловали, и я часто бывал у них дома. Мне нравилась его внушительная атлетическая фигура, а также когда он, разговаривая со взрослыми, переходил на могучее оперное похохатывание, означавшее смехотворность того или иного утверждения собеседника. Я тогда не знал, что это оперное похохатывание, и думал, что он его сам изобрел.

Так мы жили достаточно дружески и мирно, пока незадолго до их переезда на новую квартиру не случилось событие, заставившее меня сторониться наших соседей.

Однажды на улице я услышал затейливую песенку, зарифмовывающую начало таблицы умножения:

Одиножды один – приехал господин.
Одиножды два – пришла его жена.
Одиножды три – в комнату вошли.

И так дальше. Картина супружеской жизни, совершенно лишенная какого-либо чувственного содержания, двигалась согласно цифровому нарастанию к своему суровому, бессловесному завершению и на счете, кажется, десять должна была завершиться отъездом этого таинственного господина.

Придя домой, я несколько раз в ритме марша, и даже маршируя, пропел эту песенку, ничего не испытывая, кроме абстрактного восторга конструктивными возможностями человечества. Хотя восторг мой был именно конструктивным и я не испытывал ни малейшего удовольствия от этой картины, все-таки я, безусловно, понимал, что взрослые не так ее воспримут, что при них ее никак нельзя исполнять.

Именно поэтому, убедившись, что дома никого нет, я ходил по комнатам и громко повторял эти стихи, как бы убеждаясь в прочности всего сооружения.

К несчастью, увлекшись конструктивными возможностями человечества, я забыл, что наша квартира представляет из себя половину бывшей четырехкомнатной квартиры, теперь разделенной забитыми, но все еще хорошо пропускающими звук дверьми. Много раз повторяя стихи и маршируя под их ритм, я полностью исчерпал к ним любопытство, так и не заподозрив, что за дверьми педагогическая пара слушает меня и корчится от смеха. Несколько дней после этого случая, встречаясь с супружеской парой, я чувствовал, что они владеют какой-то моей тайной, что эта тайна унижительна и постыдна и что он, дядя Володя, порывается мне рассказать о том, что он знает, а жена его останавливает.

Все это сопровождалось подмигиванием, поощрительными кивками и густым оперным похотыванием. И все это мне страшно не нравилось, я как-то чувствовал, что все это грозит каким-то разоблачением, а каким – я не знал. Интересно, что, перебирая в уме все возможности постыдного разоблачения, я целиком выпустил из виду эти стишки. Конструктивный восторг, не поддержанный живостью поэзии, очень быстро себя исчерпал. На десять оборотов арифметического ключа супружеская пара отвечала десятью механическими движениями. Это было как заводная игрушка, а стадию интереса к заводным игрушкам я все-таки к тому времени прошел. Именно поэтому я совершенно забыл, что они могли подслушать мою песню, когда я ее громко пел, маршируя по комнатам.

И все-таки дядя Володя ухитрился однажды, выбрав удобное мгновение, наклониться ко мне и спросить:

– Что же «одинойды четыре»? Все помню, только это... ха, ха, ха, забыл!

Я вздрогнул от его могучего хохота и отпрянул. Волна стыда плеснула в лицо, как горячий воздух из внезапно распахнутой печки. Я прошел мимо него в ужасе. Я сразу вспомнил, что пел эту песенку у нас в квартире и пел ее очень громко. В то же время какое-то инстинктивное чувство самосохранения выдавило на моем лице (я это чувствовал) выражение идиотской невинности.

С тех пор каждый раз, когда он начинал намекать или шутить по этому поводу, а намекал он почти при каждой встрече до самого своего отъезда, мое лицо само принимало (уже одобренное сознанием) выражение идиотской невинности. Это выражение нужно было расшифровать так: может быть, я что-нибудь такое и пел, хотя сейчас и не помню, но я и тогда не знал и сейчас не знаю, что это означало.

Между тем я прекрасно все понимал, то есть испытывал невероятной силы стыд от того, что он слышал эту песню. Ужас охватывал меня, когда я вспоминал свою идиотскую громкость и мысленно представлял, как за тонкой перегородкой забитой (и, к сожалению, забытой) двери супруги корчатся от смеха. Мне даже вспомнилось, что я вроде бы слышал тогда в соседней квартире какие-то подозрительные шорохи, но не придавал им значения.

Сложность моего теперешнего положения состояла в том, что, с одной стороны, мне хотелось крикнуть ему: «Ну сколько можно намекать и портить человеку настроение, отстаньте от меня!» А с другой стороны, я никак не мог показать, что меня все это очень волнует, ведь я, выдавив на своем лице выражение идиотской невинности, дал знать, что ни за что не отвечаю и ничего не понимаю по причине своей тупости, по крайней мере, в этом вопросе.

Я стал задумываться над таинственной природой стыда.

Почему мое пение само по себе не внушало мне никакого стыда, а когда я узнал, что его слышали взрослые соседи, оно стало внушать стыд, хотя в нем ничего не изменилось. Почему?..

По-видимому, имелось в виду, что дети не должны знать об этом, а я своим пением нарушил это неписаное правило? Но я-то знал, что все дети в нашем окружении знают об этом, и взрослые не могли не знать, что, по крайней мере, некоторые дети знают об этом. Значит, правило состояло не в том, чтобы дети не знали об этом, а в том, чтобы опрятно делали вид, что этого не знают. В самом деле, до этого я довольно аккуратно делал вид, что этого не знаю, а тут как бы проговорился. Я вдруг поразился, как это я до сих пор удерживался и не выдавал себя.

Я еще не знал, что жизнь полна негласных правил, к которым человек легко привыкает. Я еще не знал, что миллионы взрослых людей могут делать одни и те же глупости, потому что это так принято. Но удивительно даже не то, что тысячи и миллионы взрослых людей, выполняя условия той или иной принятой игры, делают одни и те же глупости, удивительно то, что они, делая эти заведомые глупости, практически почти не спотыкаются, не проговариваются, хотя естественное чувство должно было заставить, хотя бы какое-то достаточно заметное количество людей, зазеваться и выйти за рамки принятой глупости.

А между тем наш жизнерадостный инспектор гороно не давал мне прохода. Чуть он встречал меня без жены, как сразу же спрашивал одно и то же:

– Так как же «одиножды четыре»?

– Забыл, – говорил я, если был приперт к стене нашего коридора или был пойман у выхода из уборной, или убегал, если была возможность, не забыв выдать на лице выражение идиотской невинности.

Кстати, в те годы, уже начиная принимать некоторые условия взрослых игр, я еще не понимал, что внутри этих условий могут быть те или иные исключения. Так, однажды, будучи с тетушкой в кино на вечернем сеансе, я вдруг увидел на экране целующихся мужчину и женщину. Никакого сомнения в том, что это любовный, а не родственный поцелуй, у меня не возникало.

– Поцеловались! Поцеловались! – заорал я на весь зал, обращая внимание зала на грубое нарушение условий игры, по которому любовный поцелуй должен быть скрыт от свидетелей. В ответ на мои возгласы зал разразился, как мне показалось, правильным хохотом в адрес нарушителей, но потом, увы, выяснилось, что люди смеялись надо мной.

Оказывается, хоть и существует правило, по которому любовный поцелуй должен проходить без свидетелей, но это правило делает исключение для произведений искусств. Я тогда этого не знал, как не знал и того, что в некоторых странах, например во Франции, это правило почти отменено и никто не прерывает поцелуя, даже если вдруг появляется свидетель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.